

Алексей Мельников

12+



Адреса памяти

Очерки и рассказы

Алексей Мельников

Адреса памяти

«ЛитРес: Самиздат»

2021

Мельников А.

Адреса памяти / А. Мельников — «ЛитРес: Самиздат», 2021

Книга очерков и рассказов, связанных между собой одной сквозной нитью - памяти. Той, что не уходит насовсем, а остаётся в жизни навсегда, отмечая главные реперные точки судьбы... Первые шаги по земле в далёкой Германии. Детство у балтийских берегов и в глухих тамбовских селениях. Школьные коридоры, по которым ещё ходил Циолковский. Нечаянная встреча с первым астронавтом, ступившим на Луну. Слезы на лекции в МИСиСе в день смерти Брежнева. Жаркие будни у дымящих литейных печей. Странствия с путейцами по дальним железнодорожным околоткам. Журналистская кухня с уроками публицистики у таких мастеров, как Отто Лацис и Игорь Бабичев... И - постоянное присутствие в адресной книге жизни множества литературных адресов. Подчас неожиданно становящихся адресами собственными. Как это, например, произошло у автора в историях встречи с творчеством Ивана Тургенева, Константина Паустовского, Николая Панченко, Ильи Сельвинского, Бориса Слуцкого, Владимира Кобликова, Сергея Сергеева-Ценского...

© Мельников А., 2021

© ЛитРес: Самиздат, 2021

Содержание

К имени своему...	5
Мы из Осо	8
Электричка в Монтекатини	11
Саша и Аркаша	13
«И чтоб чрез смертья возвратился...»	14
Скамеечка	17
Переулками вечности	18
Забывые «Незабудки»	20
Нигде и никогда	23
Полуостров	25
Космос нашего детства	27
Лыжи нашего детства	29
Мой дед не читал Сэлинджера	31
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Алексей Мельников

Адреса памяти

К имени своему...

Мы приехали сюда полвека назад. На такси. Вчетвером. С Киевского вокзала. За 23 рубля. Деньги немалые. «Волга» была 21-я. Та, что с оленем на капоте. Багажник большой – это ее главный плюс. У нас была куча неподъемных чемоданов. Громоздких, с щелкающими замками и тугими стяжками на боках. С ними в электричку – никак. Дежурный скарб офицерской семьи. Мы тащили его с прежнего места службы отца – из промозглого и засаженного каштанами Калининграда.

Оба города начинались одинаково. А с четвертой буквы их грамматические траектории расходились. Хотя и первоначальное их слияние выглядело случайным. Города не походили друг на друга, как приемные дети на неродного отца. Просоленный всеми морскими ветрами, вырванный с корнем из истории и вновь воткнутый в нее бетонно-каменный Кенигсберг – Калининград. И – спрятавшаяся за сосновым бором, петляющей Окой и резными ставнями старокупеческая деревянная Калуга.

Улица была Революции 1905 года. Хотя никаких революций в городе отродясь не бывало. Разве что неудавшаяся – Ивана Болотникова. Впрочем, когда погибли космонавты, ее переименовали – в Добровольского. Она пересекалась с – Циолковского. А та – с Королева. Ну, а та – с Гагарина. Мещанский город рвался в космос. Точнее – его туда усиленно толкали. Посреди космических улиц была школа. В ней преподавал Константин Эдуардович. А позже – Любовь Васильевна. Я оказался в ее классе на четвертой парте в третьем ряду. Она научила меня читать и писать. Потом научила мою жену обучать тому же самому таких же, как я тогда, первоклашек.

Возможно... Да, нет – даже наверняка мы сидели в тех же классах, где крутил на уроках физики свою динамо-машину полуглухой Циолковский. Кто знает – может, за теми же самыми партами. Они были старые, покатые, с откидывающимися досками и приделанными скамейками. На верху столешниц красовались дырки для чернильниц. Вдоль ползли длинные углубления для гусиных перьев. Дедушка космонавтики мог бы присаживаться за такую и объяснять очередной недотепистой гимназистке (а в ту пору здесь учились только барышни) закон Кулона.

В школе была Ленинская комната. Хотя Ильич у нас не преподавал. А вот комнаты Циолковского почему-то не было. Наверное, туго было с помещениями – школа занималась в две смены. На втором этаже – светлый актовый зал, выходивший на Гагарина. Тесная учительская – окнами на Королева. Стрелковый тир – где-то в подземелье. И особая достопримечательность – развешанные по стенам большущей кладовой старые мятые трубы пожарного оркестра. Наверное, еще царских времен. Оркестр торжественно молчал и за всю историю школы, по моему, не издал ни звука.

Рядом со школой останавливался троллейбус. Я любил на нем ездить. Да беда – некуда: родители снимали квартиру рядом. В третьей по счету пятиэтажке на весь район. Все остальное было деревянное и одноэтажное. Каменными были еще больница и обелиск нашего школьного учителя на его могиле. В парке, носящем его же имя. Там росли липы. Между ними мы гоняли в футбол и ловили майских жуков детскими сачками.

Низом текла Яченка. Она впадала в Оку и помнила на себе зачарованный взгляд Гоголя. Изредка Николай Васильевич столовался здесь, у Смирновой-Россет. Читал ей свои книжки.

Кто это – мы не знали. В ту пору больше звучала фамилия Кандренкова – маленького человека в шляпе, помахивавшего этой шляпой с переносной трибуны в Первомайские праздники и на 7 ноября. Он просидел в Калуге гораздо дольше Александры Осиповны. За что удостоился мемориальной доски на здании бывшего обкома. Смирновой-Россет никакой доски не было.

Город был старый. С характером. Его еще называли купеческим. То есть... Впрочем, понимаете, как вам будет угодно. У одного одноклассника бабка все время продавала какие-то пучки и соленья рядом с остановкой. Прилюдно. За него было стыдно. Он был коренной. Другой – тоже с корнями: мощные дубовые ворота к просторному дому и саду. Играть разрешалось только перед воротами. В саду было много яблонь. Поэтому туда детей не пускали. В дом – тоже.

Главная улица в городе была имени Кирова. Бронзовый Сергей Миронович в хромовых сапогах внимательно посматривал с постамента на окружающих. Видимо, изучал, поскольку появился впервые здесь только в качестве монумента. Потом его перенесут и поменяют на бронзового городского с бляхой. И тоже в сапогах. И также пристально всматривающегося, но уже не в прохожих, а такую же, как он, забронзовевшую калужскую дворнягу.

Вообще в городе любят глазеть на проходящих. Рассматривать чужие лица. Что-то в них искать. Уверен: недостатки. В иных местах любопытство щадящее. Здесь – карающее. К нему надо было привыкнуть. В туристических проспектах об этой особенности местного населения ничего не говорят. Хотя, мне кажется, тот же чужестранец Циолковский мог бы многое об этом поведать. Что он, впрочем, и сделал. И даже написал. Но кто же будет читать Циолковского в Калуге?..

После космоса в городе на втором месте значились проводы зимы. Туда ходили семьями. В парк с каруселями. Под стены Троицкого собора, одно время служившего боксерским рингом. Драться подушками, прыгать в мешках и есть пирожки с морковкой по три копейки за штуку. Мужики раздевались до трусов и лезли на столб за самоваром с гармошкой. Часто – гуськом. Потому что – выпивши. И опадали сверху разом, точно горошины из переспелого стручка. Было смешно, но не весело.

Старый город усиленно ломали. Строили жилье для военных заводов. Строили много. Наверное, потому, что к войне готовились всерьез. Требовались моторы для танков, турбины для субмарин и релюшки для узиков. Старые деревянные дома этому мешали. Некоторые заваливались сами. Их подпирали столбами. Образовывались арки, под которыми приходилось идти, нагнувшись.

По необмелевшей Оке ходила «Заря». Пахала водную гладь и швыряла волны на прибрежные кусты. В них прятались лягушки и ящики для моторных лодок. А в тех – моторы. Тысячи штук вдоль речного берега. Калуга любила ездить на моторках. Взад-вперед. Туда – назад. На бортах всех местных «Казанок» белели загадочные буквы – ФЖО. Я никогда не мог их расшифровать.

Вскоре вода в реке упала. Моторки исчезли. «Зари» не стало. Ока покрылась проплешинами отмелей. Рыбаки из лодок перелезли в сапоги и встали с удочками. Но что сделалось при этом с рыбой – неизвестно. Я – не рыбак. Скорей – грибник. В городе это означало – взять штурмом ферзиковский дизель около шести утра. И ехать все равно куда. Потому что грибов в сезон везде навалом. Лучше – до Перерушева. Там на путях – десятки старых паровозов. «На случай войны», – шептали знающие. «Кого с кем?» Короче, вскоре паровозы исчезли. Но война, слава Богу, не началась.

Хотя в школе мы играли в «Зарницу». Готовились. Бегали друг за другом и срывали погоны. У кого оторвали – тот «убит». Горестно, но пережить можно. «Убитый» всякий раз возвращался домой к родителям. А на следующий день – в класс. И садился рядом с «живыми». И все продолжалось. И ничего не заканчивалось. Ни детство, ни школа, ни семья, ни город. И не закончится теперь уже никогда. Потому что...

Потому что есть то, что называется родиной. Что ею становится. Что всегда с тобой. Что не умирает. А если умирает, то возрождается вновь. Что рядом. Что прирастает к имени твоему. Что близко, даже если ты далеко-далеко. И, как в той школьной «Зарнице», мы возвратимся. «Убитые» вновь сядут рядом с «живыми». И все будут вместе. И впереди у нас будет новый день...

Мы из Осо

Тюленев пруд часто прорывало, и тогда вся деревня ездил на станцию Рымарево в объезд. Большаком. Лишним полуторакилометровым кругом. Дорога была утоптанней, но скучней. Без то и дело ныряющей в лощины и медленно выползающей наверх колеи-раскоряки. По ней ехать было весело, но страшно – мотающиеся из стороны в сторону деревянные колеса отчаянно скрипели на тележных осях и отрывисто стучали металлическими ободами по пересохшим камням.

С горы телега неслась как сумасшедшая. Оглобли обгоняли лошадь. Хомут переезжал с шеи кобылы на уши, и та, погоняемая озорным дедовским «А ну-ка, милая!..», кидалась сверху вниз на едва перегораживающую грязный пруд тюленевскую плотину.

Она была узка – одно колесо обязательно сползло в прибрежную жижу. Другое прокатывалось по самому обрыву. Над прудовой гладью вихрастыми поплавами вечно маячила пара-тройка чумазных голов – то было жаркое лето, и лучшего места для укрытия от степного зноя, чем наполовину заросший камышом коровий водопой, было не найти.

Все вместе это называлось стойлом. Сюда коров сгоняли на самые жаркие часы, и хозяйки с ведрами подтягивались к Тюленеву аккуратно к обеденной дойке, проходившей всякий раз под голосистое кряканье жирных бучанов, стаями гнездящихся в заросшей осокой лощине, да под свирепое жужжанье оводов, сводивших с ума всегда покладистую бабушкину Маньку.

Говаривали, что в Тюленевом кто-то когда-то утонул. Не верилось. Даже Сашке Прошкину любимая нами жижа была лишь по шейку. А он из деревенских считался самым маленьким. «Да то надьсь еще было, – объясняла бабушка, – до войны...» Пруд тогда был большой и глубокий. Заливал всю лощину как есть. И подходил даже к огородам. Дед с дядей Петей снимали с себя рубахи и отправлялись ловить ими карасей. Те, по преданию, так и стучали носами о бабушкин огород, десятками запутываясь в дедовском исподнем.

Потом – уже не то. От разливанного пруда остались лишь топкий ручей да яма-самокоп для полива жадной до воды капус-ты. По его иссохшим краям много лет гоняли жидкое деревенское стадо, которое ко времени окончательного вымирания села насчитывало только шесть коров. Потом их стало пять. Потом три. Одна. А после уже деревня вымерла окончательно. Последние старики из нее съехали как раз в тот год, когда напротив раскорчевали прекрасный яблоневоый сад. Тюленевскую плотину прорвало. Бревенчатые избы раскатали на слом соседские мужики с Первомаея. Саманные развалились сами. Дорога заросла. И только могучие ветлы, к которым дедушка всякий год привязывал для внуков рели, еще видны с токаревского большака. С него давно уже сняли указатель: поворот на Осоавиахим. Или – Осо, как простодушно называли все деревенские свою теперь уже навеки затерявшуюся где-то меж тамбовских и воронежский степей отчизну.

А помнишь – бригадир?.. Однорукий, черт, а как лихо управлялся со своим «ижаком» с коляской. Летит, бывало, по полям: кепка – на глазах, пустой рукав сзади полощется, куры – врассыпную, пацанва – в зависть. Мотоцикл-то в деревне редкостью был. Б-о-о-о-лышущей причем...

Изредка бригадир наведывался к нам. И тогда дедушка отворял дверь в избу и кричал внутрь: «Акулина Иванна, загляни-ка в шкафчик, гости у нас!» Бабушка покорно отворяла настенный закром и извлекала из него всегда притаенную по такому случаю пол-литру.

Доверху наполнялся стограммовый стакан. Бригадир бережно охватывал его своей заско-рузлой пятерней. Медленно подносил к груди. Вытягивался во весь свой карликовый рост. Как-то даже приосанивался, отчего горб под правым плечом переставал угадываться. Быстро

опрокидывал водку в вечно небритый рот. Вдохновенно кричал. Брал со стола оказавшийся тут как тут кусочек ржаного хлеба. И, одобрительно глядя снизу вверх на деда, говорил:

– Ух, и жара ноне, Михайло Иваныч! Наскрозь упарился! Как бы хлеба не погорели. Овес-то в огороде уж, небось, весь пересушил. Скирдоваться надумаешь – за лошадь-то заходь. Уважим. Все как есть... Все как есть...

Гостя выходили провожать на крыльцо. Уважительно наблюдали, как он хватко шурудит одной рукой в мотоциклетном моторе. Как сноровисто газует. Закладывает у колодца крутой вираж и с оглушительным треском исчезает в облаке жуткой пыли.

Бригадир был самым высокопоставленным из советских начальников, когда-либо посещавших наше село. Других не знали. Нет, был, говорят, где-то председатель колхоза. Километрах в двадцати от нас, в Цветовке. Но ни как звать или каков на вид, никто из местных бабок и дедов рассказать не мог. Деревня слыла неперспективной, а потому государственного интереса явно не заслуживала.

Из работников в ней оставалось лишь трое мужиков. Вечно угрюмый и молчаливый банщик Гаврилов, ездивший в соседний Партизан изменять своей жене на ядовито-красном велосипеде марки «ХВЗ». С ним он никогда не расставался, в отличие от своей жены-орденоноски. Та мужнины рейды переносила стойко. На людях не тужила – и только запершись в избе, давала ход непочатому бабьему горю.

На самом краю деревни, в едва удерживающей на себе соломенную крышу избе-саманке, с горбатой женой и двумя дочерьми на выданье весело коротал свою фантастическую бедность скотник Мерзликин. Помню, сидит как-то ошалевший на траве перед домом. В руках – ведро, по земле картошка рассыпана. Сидит и пьяно горюет: «Ну, ты подумай – тридцать шесть с куста! Почитай – ведро! Во урожай! Во!..»

То был жгучий тамбовский чернозем. На нем не только скотник Мерзликин, но и как минимум полдеревни жили в советское время бедно. Ютились в саманках. Крыши крыли пере-превшей соломой. Дыры в них успевали латать не всегда. И жутко радовались 24-рублевой пенсии, из которой умудрялись купить внучатам гостинцы и отложить на черный день.

Жили еще по соседству два полоумных брата Орловы. Те навоз в соседнем Партизане возили. Колхоз доверил. Важничали братья от этого сильно. Встанет старший брат Петро на засранную телегу, натянет вожжи, хлестнет петлей по лошадиным бокам, радостно закричит и ну так скакать по стерне два километра сряду. Как раз до партизанской конюшни получается. Издалека глупая башка виднеется. Волосы – вроссыпь. Рубаха – пузырем. На слюнявых губах дурачка – улыбка. Хорошо малому тут. Легко. Просторно.

В семинарию мечтал. «Вот, – говорил, – дядь Миш, уеду скоро. В Загорск зовут. Учиться. Бога почитать...» «Что же, Петенька, – соглашался с убогим дед, – хорошее дело задумал – учеба. Ступай. Бог милостив...»

Простой был в деревне народ. Самый неначальственный. Дед, как с фронта медали принес, в конюхи подался. Бабушка Акулина полжизни в поле провела. Деду Петьке – старшему брату бабушки – не повезло. Года три в плену промаялся. Все зубы там оставил. А в придачу к ним – и доверие властей. С войны тут же в поле угодил, аккуратно под брата Алексея плетку. Тот в конце сороковых председательствовал. Крут, говорят, был чрезмерно. Прискочит на лошади в поле. Глянет, кто сел передохнуть, и вдоль спины нагайкой: «Я те покажу, как лодырничать!» Всем доставалось: и своим, и чужим – поровну...

Досадовали на братца. Годы спустя улеглось. Да и сердце у деда Лешки стало пошаливать. Полдеревни в райбольницу ездили навещать. Хоронить приезжали родственники аж из самой Москвы.

Чуть было про сына его – Леньку – не забыл. Этот уж совсем высоко взлетел – районного начальника на «Волге» возил. До таких вершин никто из деревенских не дослуживался. Потому каждый приезд дяди Лениного авто деревня переживала особо. Машину обступали со

всех сторон. Восхищенно гладили ее переливающиеся на солнце бока и с нетерпением ждали, когда хозяин выйдет из отцовской избы на крыльцо и крикнет: «А ну, ребятня, кто кататься?»

Дядя Леня был добрый, и из окна его служебной «Волги» вечно торчало до десятка счастливых мальчишских физиономий. Не то что однорукий бригадир. Тот, наоборот, слыл человеком строгим и прижимистым. Катать на своем мотоцикле не любил. Но осуждать его за это не смели. Как можно? Ведь это ж был сам бригадир! Разве есть кто выше его по рангу? Конечно же, нет, справедливо рассуждали деревенские, и исправно откупоривали бутылку, лишь только слышат под окнами знакомый мотоциклетный треск.

Электричка в Монтекатини

«Со-бач-ка...» – как это у него так мягко выходило, у Мастроянни, в том фильме, помните? С легким таким и осторожным растягиванием незнакомых итальянцу русских слов. С нежным поглаживанием во рту языком шершавого нашего «ч» и колючего «к». С облачиванием их мелодичной тосканской фонетикой, словно вылизываемых волнами Адриатики маленьких камней.

«Со-бач-ка...» – итальянцы определенно любят животных. Я имею в виду – маленьких таких, с белым кудряшками болонок. Один синьор, вижу, управляет поводками целой полудюжиной, как раз напротив театра Верди. Зачем ему столько?.. В Монтекатини в несезон по вечерам тихо-тихо, народу – чуть, разве что старички по лавочкам, так что сразу шесть «со-ба-чек» – почти капелла.

А спать здесь зимой ложатся рано. Городская карусель на центральной площади уже к семи часам гасит фонари. Синие ослики и розовые жирафы перестают вертеться. Кружившаяся на них местная малышня отправляется по домам. Щелкает в последний раз рубильником усатый карусельщик. Буаноноттэ...

Я прошу прощения за излишнюю навязчивость, но, чувствую, вы не были в Монтекатини. На самом деле – это очень просто: от Флоренции – 40 минут на электричке. Я бы посоветовал в двухэтажной – обзор шире. Хотя – вечер, февраль, люди с работы уставшие возвращаются, студенты с лекций: какая разница, где, вытянув ноги, блаженно задремать?

Вы знаете, флорентийцы тоже, оказывается, устают на своих работах. До чертиков. Честное слово. И с сумками, в точности как мы, вбегают за минуту до отправления в переполненные вагоны. И радостно так плюхаются на свободные места. Чтобы, значит, ехать домой, в Пистою, Прату или Монтекатини, – к семье и детям. Из этой – Флоренции. Представляете: каждый божий день или вечер уезжать из Флоренции...

Да вы, может быть, не сильны в итальянском? Увы – я тоже. Как говорится, «нон парло итальяно». Хотя был случай (опять-таки в Монтекатини), пришлось с моим «нон парло» подвизаться даже в качестве проводника. Можно сказать, экскурсовода.

Итак: ты очень внимательно выслушиваешь по-итальянски вопрос на тему «как проехать?» (кстати, довольно лестно продлевать ошибку собеседницы, уверенно угадывающей в тебе тосканского аборигена). Участливо в ответ киваешь (без малейшего понятия – чему). И под конец растроганно признаешься в своей досадной (и, надо признать, чертовски досадной в среде чарующих итальянок) немоте: скюзи, синьора...

Та, что заблудилась тогда в Монтекатини, весело помахала в ответ рукой и умчалась в теплый февральский вечер. Красные огоньки ее «Фиата» растаяли как раз в направлении Термы Тетуччо. Уверен: вы знаете ее, эту терму. Ну, ту самую, с Мастроянни: «со-бач-ка»...

Нет, я ни на что не претендую. Я тоже в ней самой не был. И вряд ли буду. Впрочем, сквозь закрытые на зиму ворота заглянул – врать не буду: колоннада, мрамор, очищение почек, холестерин – в общем, санаторий «администрации президента» Римской империи в чистом виде.

Ну да, я и говорю: термы эти (да и весь курорт) – для самых невероятных богачей. Аристократов – тоже. Плюс первых леди первых стран. Слушайте, якобы Светлану Медведеву пару лет назад сюда возили, так переволновавшиеся монтекатинцы, ходил слух, даже таблички уличные по-русски в честь такого случая переименовывали. Что, впрочем, быстро рассосалось: улицы вскоре вновь стали Verdi, Marconi и Bellini, а единственным отголоском русского «нашествия» оказался еженедельник «АиФ», чудом затерявшийся на тучных полках местных «союзпечатей».

Но вам этих богачей не стоит бояться. Ей-богу. Зимой в Монтекатини их, по-моему, просто нет. Не думаю, что они специально как-то прячутся. Просто – съезжают. И, опять-таки, не думаю, что на электричках. Я бы уехал, конечно, именно так: прокомпостировав предварительно билет на маленьком вокзале Монтекатини-Чентре, уютно устроившись у окна и с любопытством разглядывая кнопочного малыша-негритенка, туго притянутого цветастым шарфом к спине бедно одетой африканки напротив.

Как негритеночек уморительно по-щенячьи чмокается губками в капюшон своей маман. Соску ищет? Пожалуй... Как сонно бодает коричневым лобиком нежно ласкающую взрослую ладошку. Как медленно закрывает бусинки-глаза. И засыпает под стук колес пригородной электрички.

Флоренция – только через 40 минут. За окном – густой февральский вечер. Карусель в Монтекатини, скорее всего, уже закрылась: ослики, лошадки и жирафы тоже будут спать. Усатый карусельщик наверняка выключил свой большой рубильник: погас свет, остановилась музыка... Тот странный синьор с кучей поводков в руке тоже, наверное, выгулял своих питомцев и повел их ужинать. Я, пожалуй, тоже вздремну чуток, пока вагон качается. Может, и приснится что-нибудь. Буаноноттэ, «со-бач-ка»...

Саша и Аркаша

У Сашки слов победнее, чем у Аркашки. Зато все сочные, матерные. Букву «е» предпочитает в особенности. С нее, как правило, все и начинается: и работу, и перекур. Аркадий поразговорчивей своего напарника. Правда, я все равно ни черта не смыслю в его шепелявой болтовне. Нет хуже говорливого немого.

Санек пескоструит ротора, Аркадий – сопловые. Бывает наоборот. Я их лью, а они все это хозяйство драят. В литейку немых охотно берут – иные брезгают: пыль, шум, пудовые детали, жар, вонь и прочее. Немые ничего: помычат, поматюкаются одной буквой «е» и – за работу. За сущие гроши. А что поделаешь: на чьих-то ведь плечах индустриальная мощь страны должна удерживаться?..

У Сашки лапа здоровая, жесткая, как наждак. Начнет поутру ручкаться – того гляди оторвет или оцарапает. «Здорово, Сасок!» – нежно поддразнивают немого обрубщика мужики. Саша умеет говорить свое имя. Правда, без буквы «ш». Ну и мужики, значит, тоже к нему – по-свойски, без шипящих.

Аркашка, наоборот, шипящие обожает. Ну, просто каша во рту. Журчит так радостно, булькает – это он про ремонт коробки передач в своих «Жигулях» рассказывает. Мужики, что потерпеливей, вслушиваются и даже советы дают. Тот озабоченно кивает. Я – нет: устал от машин. Натаксовался в молодости.

Сашке с Аркашкой по полтиннику. Им еще пять лет по второй сетке пыль в литейке глотать. Мне лучше – иду по первой, в пятьдесят. Точнее – уже пошел. Какая, спрашиваете, пенсия? Восемь плюс два раза по тысяче на детей. У меня их двое – студенты. Итого – 10 тысяч. Мало, говорите? Ничуть: многие завидуют. Не деньгам даже, а тому, что дожил.

Сашкин и Аркашкин друг Толян – тоже обрубщик, как они, – так месяца недотянул: вот, хоронить ездили. Вечно черный от шлифпыли, в робе песком, точно молью, побитой – так, истаял прям на глазах. И никакой онкоцентр не помог. Худой, как вилы, стал, а все толкал перед собой по цеху колченогую тачанку с деталями. Шатается уже, а толкает. Сгорел малый. Сын остался и еще кто-то.

Меня устраивает, что они немые. Что именно здесь, в этом литейном аду, я могу с ними ни о чем не говорить: ни о плохом, ни о хорошем. Первое, что обсуждать – океан коромыслом не перетаскаешь. А второго так мало, что и словарного запаса немых будет чересчур.

С Сашкой даже драться хотел. Точнее – он пятикилограммовой болванкой в меня один раз прицелился. Прям в лоб. Пескоструйку я у него на минуту занял. А что – он прав. Мужику работать надо, а тут с другого участка кто-то присоседился. Это я про себя. На всякий случай присел. Отливка просвистела мимо.

Аркашка поспокойней – напором не берет, но хитростью. Тачечку себе удобную у слесарей сварганил, никому не дает. Кроссовочки, костюмчик, козлеца с бригадиром в перекур, премии грошовые и все такое. В душ, опять же, как после смены не зайдешь – Аркашка уже напаренный оттуда: красный, гладкий, как в форму отлитой...

Скучно мне с ними. Очень. Благо – не о чем говорить. А то бы совсем тоска. Но в целом они хорошие: пьют в меру, дерутся – тоже. Меня несколькими словами из немой азбуки обучили. Да и начальство хвалит. Я скоро уйду, а они – останутся. Потому что так надо. Потому что так заведено. Потому что индустриальная мощь страны по-прежнему должна на чьих-то плечах держаться.

«И чтоб чрез смерть возвратился...»

Пушкин назвал его «чудаком, не знающим русской грамоты». Считал, что максимум «од восемь его надо оставить, остальное сжечь». Император Александр I в сердцах подтвердил отнесенное на его счет – «горяч и в правде чорт». И передел из министерского мундира в домашний халат. Знаменитый губернатор-взяточник Лопухин едва не доконал поэта-разоблачителя доносами. Полгода следствия и сомнительная честь инспектируемой Державиным Калуге прослыть столицей российской коррупции. Обошлось: поэта-правдоруба оправдали, обворовавшихся Калугу и Лопухина... тоже.

Его стихи (оды) не декламируют со сцены. Давно не переиздают. Неизвестно, проходят ли в школе, включают ли в сочинения для ЕГЭ? Не дают его имя улицам, школам, библиотекам. Правда, есть в России названный в его честь университет. Может быть, даже два... Но в целом – забвение. Общий приговор: «тяжелый» слог, «загроможденная» лексика, «высокопарность», «пышность» и т.п. Да и сам Александр Сергеевич к сему руку приложил... Короче – «вышел из моды». Хотя и остался в истории. Выйти из нее Гаврилу Романовичу Державину уже никак невозможно. Поскольку он и есть та самая история: человека на тверди земной и духа, над всеми парящего...

*...Твое созданье я, создатель!
Твоей премудрости я тварь,
Источник жизни, благ податель,
Душа души моей и царь!
Твоей то правде нужно было,
Чтоб смерти бездну преходило
Мое бессмертно бытие;
Чтоб дух мой в смертность облачился
И чтоб чрез смерть я возвратился,
Отец! – в бессмертие твое...*

Он прожил потрясающе насыщенную жизнь. Из ничего вылепил в себе историческую фигуру. Из полунищего провинциала – сенатора. Из ученика безграмотного солдата – литературного классика. Заядлый картежник, нежный сын и супруг, суровый гонитель пугачевщины, отважный защитник жертв беззакония, расчетливый царедворец, каратель взяточников, слагатель льстивых од и безгранично талантливых посланий, познавший царскую любовь и ее же опалу, изваявший, даже отливший чуть ли не в бронзе литературный русский язык и получивший за то пушкинский «выговор» якобы «дурного перевода с чудесного подлинника» – все это и есть Гаврила Романович Державин.

Не напиши он ни строчки, держава все равно бы узнала Державина. Но он написал, и история России и русского языка прочертила его сильную траекторию, может быть, и не отдавая себе в этом отчета, то и дело воспарял над ней в порывах более легкой словесности. Та обладала, безусловно, массой достоинств, кроме одного, краеугольного, державинского, – гравитации. Той самой тяжести («свинцовой», как упрекал своего великого предшественника великий Пушкин), что придавливает поэтические строфы к земле, сообщая им необходимую устойчивость и отнимает звуковую невесомость, что так желанна стала в стихах впоследствии.

*Глагол времен! Металла звон!
Твой страшный глас меня смущает;*

*Зовет меня, зовет твой стон,
Зовет – и к гробу приближает.
Едва увидел я сей свет,
Уже зубами смерть скрежещет,
Как молнией, косою блещет,
И дни мои, как злак сечет...*

«Тяжесть» державинского стиха осязаема. Увесистость. Объем. Форма. Цвет. Строфы точно не из-под пера, а высечены из камня. Выисканы глубоко в недрах. Отколоты от гигантских льдов. Упали из метеорных потоков. Иные точно слышаны в грохоте водопадов, орудейной пальбе или даже – победных салютов...

*О росс! О род великодушный!
О твердокаменная грудь!
О исполин, царю послушный!
Когда и где ты достигнуть
Не мог тебя достойной славы?
Твои труды – тебе забавы;
Твои венцы – вкруг блеск громов;
В полях ли брань – ты тмишь свод звездный,
В морях ли бой – ты пенешь бездны, –
Везде ты страх твоих врагов.*

«Образы и слова, – писал о Державине В. Ходасевич, – он громоздил, точно скалы, и, сталкивая звуки, сам упивался их столкновением». «По существу, – продолжал рассуждения о великом стихотворце Ю. Айхенвальд, – эта громкая поэзия отражает в себе как личные настроения самого Державина, так и психологию и даже физиологию блестящего века Екатерины. Ее певец, он сумел внутренне объединить на своих страницах то, что относится к ней, к ее царствованию, с тем, что составляет его именную субъективность».

Впрочем, сверкающий металлическим отливом, увесистый, тягучий стих Державина обязан был не одному лишь громогласию эпохи героини его бессмертной «Фелицы», но и движению поэтической музыки куда менее политизированному и сиюминутному. А именно: обусловленному как самой природой русского языка, так и секретами души его носителей. В великой оде «Бог», почти десятилетие томившейся на письменном столе поэта, державинская форма стихосложения обрела-таки непоколебимое алиби: о Всевышнем сподручней изъясняться могуче, увесисто, зримо, ни на миг не допуская сомнения в присутствии Создателя.

*О ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества,
Теченьем времени превечный,
Без лиц, в трех лицах божества!
Дух всюду суций и единый,
Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто все собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы называем: бог.*

Державинско-пушкинская развилка русской поэзии обозначила два ее главных вектора: первый ближе к скульптурному, пространственному, осязаемому, некоему прообразу 3D, дополненному лексической гравитацией, и подчиняющийся тяжеловесной вселенской круговерти; второй вектор – скорее мелодичный, легкий, трудноуловимый, стремящийся туда, где веса нет, а заодно – пространства тоже, тот самый «пух из уст Эола», не празднующий в законах физики ничего путного, кроме, пожалуй, одного. А именно – привычки к гениальной невесомости...

Скамеечка

Я уже не помню, когда она появилась: может, лет сорок назад, а может быть, и раньше. Мне кажется, что ее построили вместе с домом – как абсолютно неизбежный атрибут. Били сваи, клали стены, гудронили крышу и – изваяли скамеечку. Грузную и колченогую. От рождения износившуюся. Постанывающую и устало кряхтящую под каждым пристроившимся на нее. Короче – изначально отжившую свой срок.

Скамеечке до всего было дело. Она встречала рожениц нашего подъезда. После проводила их повзрослевшую поросль в детсад, затем – в школу, институт, ЗАГС, тюрьму. На ней наши молодые мамы пеленали своих чад. Затем – внуков. После их самих, поседевших и осунувшихся, проносили мимо скамеечки в обрамлении венков и убитых горем родственников.

Скамеечка знала все. За сорок лет наслушалась всякого и обо всех. Даже пустая нравоучительно пугала молодежь, привыкшую ходить мимо скамеечки на цыпочках, как сквозь строй, будучи всякий раз поротой по-соседски ядовитыми домыслами заседавших на ней вещунный.

Заседания эти не имели ни конца, ни начала. И часто сопровождалась выпивкой. Схоронившие беспокойных и нетрезвых мужей соседки обзавелись со временем скучной жизнью и пристрастились в теплые деньки вытаскивать на скамеечку подмайонезенные оливье, селедку, холодец и шумно с песнями чавкать на виду у честных прохожих.

То Масленицу обмывали, то Троицу, то похороны, то Петров день... Да мало ли?.. Под хруст соленых огурчиков, щелканье подсолнухов и предательское звяканье тщетно упрятываемых в ногах бутылок.

– Петровна, иди – семачек!.. – летел со скамеечки в адрес очередной товарки возбужденный женский клич...

– А по шкафу так и сыпуть побелкой, так и сыпуть. Топочет, что ли, кто по потолку...

Дверь в подъезд то открывалась, пропуская очередного жильца, то закрывалась, выпуская обратно, а со скамейки все «топотало» и «топотало». Год, два, три...

Было дело, скамеечку даже выбрасывали. Дабы не приваживать... А кого, собственно, самих себя, что ли?.. В общем – оттащили дряхлую на помойку и бросили – точно полоумную бабку в дурдом. Был скандал. Общим сходом подъезда потребовали вернуть. Притащили старую обратно и приколотили к расшатавшимся в изгнании ногам дощатые протезы – для пушей устойчивости. Пусть будет. Так и поскрипывает.

Я помню всех, кто на ней сидел. И знаю, почему – перестал. В половине случаев – все она, «проклятая». Водочка, то бишь. В остальных – «ее» вторичный эффект. Мужики уходили дружно, как на войну. И – не возвращались. Скамеечка со временем все больше становилась вдовьей. Хотя не сказать, чтобы уж чересчур меланхоличной.

Ей было по-прежнему некогда скучать. Товарки стекались на нее со всего дома. И хищно обсуждали всякого, ныряющего в подъезд. Прения, так и есть, нет-нет да и прерывались тостами. Но – в меру, как уже отмечалось, камерными, без, боже упаси, серьезных нападок на окружающую мораль. Так – слегка, по-бабьи, по-нашенски, по-русски с перчинкой и матерком. Но все-таки добрым матерком, в сущности, даже где-то почти душевным.

Скамеечка прожила с нами всю нашу жизнь. Или – прожила все наши жизни, поскольку своей не располагала. Поэтому, видимо, приходилось отнимать свои годы от наших. На что они ей сдались, не знаю. И так много... Стало быть, нужны, раз пользует. Ну, скрипи, старая, не падай. Воркуй соседкам про свою деревянную немощь. Кряхти. Вздыхай. Покачивайся...

Переулками вечности

В Рим приезжают для того, чтобы, покинув его, никогда с ним больше не расставаться... Собственно, в Вечный город не приезжают – в нем растворяются. Моментально. Как кусочек рафинада. Ты будешь сколь угодно долго штудировать накануне отлета путеводители, освежать в памяти даты жизни Юлия Цезаря и Октавиана, читать про форумы и Колизей – и все тщетно. Брось...

Рим проглотит тебя со всеми твоими потугами и жалкими обрывками справок. Они ему не нужны. Ему нужен ты – человек. Такой, какой ты есть: знающий или не очень, из ближних весел или издали, «парло итальяно» или, наоборот, «нон» – любой, ибо каждому он – отчизна. Поскольку – центр мира. Повертите русское слово «мир» и убедитесь: именно Вечный город дал Вселенной орфографический заем из основополагающих «м», «и», «р».

* * *

Гоголь признался в письме из Рима: «Я родился в Италии!..» И то верно: на Страда Феличе в Риме случились роды великой русской прозы – «Мертвых душ». Появившихся именно здесь – близ Пьяцца ди Спанья – на свет и покоровших тут же всех своей истовой рускостью.

Взлетевшая из-под стен римского Тринита дей-Монти (Троицкого, скажем так, на горе) собора русская литературная звезда, облетев мир, вспыхнула сверхновой (вторым томом «Мертвых душ») вблизи своего собрата – Троицкого собора, но уже в Калуге, где в нескольких кварталах от него – на губернаторской даче в загородном саду – великий римлянин в 1849 году в первый и последний раз полностью продекламировал сожженное впоследствии творение.

* * *

Пьяцца ди Спанья – Испанская площадь в Риме. Лучше всего на нее выходить случайно. Меряешь себе шагами тысячелетний булыжник узких римских улочек, вертишь во все стороны головой – и вдруг бац – ты чувствуешь себя парящей в небе птицей: внизу – купола Вечного города, за спиной – протыкающая небесную голубизну двуглавая Тринити, вокруг – пестрота холстов местных рисовальщиков, говор шныряющих под ногами смуглолицых индусов, одаривающих симпатичных туристок (за пару евро, конечно) нежными розами.

Мекка влюбленных. Та самая двухмаршевая лестница, сыгравшая заглавную роль в оскороносных «Римских каникулах» Уайлера. По ее ступенькам не то чтобы спускаешься, скорее – нисходишь. Будто с небес. И никогда не увидишь сбегающего. Зато сидящих и даже возлежащих – навалом. Вплоть до «Баркачио» – фонтана-лодочки, некоего полузатонувшего романтического изваяния, также гениально подыгравшего великому дуэту Одри Хепберн – Грегори Пек.

* * *

Жизнь человека разделяется на две половины: до Рима и в нем. Многие остаются в первой половине навсегда. И даже не подозревают об этом. Остальные пребывают во второй. Потому что, повторяю, посетив однажды Вечный город, ты автоматически прописываешь там свое сердце. Даже физически возвращаясь в Калугу, Челябинск или Моршанск, ты все равно остаешься римским пленником навеки. Город всасывает тебя, точно вакуумный насос. Откуда столь притягательная мощь у этих каменных стен, булыжных мостовых и жужжащих мотороллерами перекрестков – непонятно. Короче – аномалия налицо.

Пробовал экспериментировать: игнорировать «достопримечательности» и обшагать «обычные» римские кварталы. Не получилось. Тут же был «съеден» первым попавшимся на пути книжным бутиком. Впрочем, даже не знаю, как эту штуку правильно назвать. С порога – вроде бы кафе 30-х: столики, аромат эспрессо, приглушенный дух сигар, кашне, синьоры... Зал, впрочем, быстро обнаружил преисподнюю – уходящие вглубь неоглядные стеллажи с вечностью на полках. С искрошившимися по краям кирпичиками прабабушкиных книг, выцветшими альбомами витиеватой графики, поцарапанными граммофонными пластинками, картинами, тоже требующими опытной руки реставратора, справочниками полувековой свежести, коробками старых писем и открыток, причем написанных кем-то и кому-то, видимо, еще при Муссолини, зато источающих терпкий аромат столь тесно обступившего тебя бессмертия. Вечность не отпускает тебя в Риме ни на минуту.

* * *

Не спрашивайте о Колизее и форумах. Честное слово, они куда щедрее, нежели на картинках. Думаю, они сломались не от землетрясений и войн, а под натиском взоров туристов и квантового артобстрела их дальнобойных фотовспышек. Спросите лучше о соборе Святого Петра. Но не о его размерах или тоннах отполированного мрамора, пошедшего на сооружение стен, и даже не о гонорах его творцов – Браманте, Бернини и Микеланджело. А о том, как же человечеству удалось таким образом впервые выбраться в космос. Если бы Нобелевскую премию по астрофизике (самой близкой к проблемам Вселенной) разрешили бы присуждать посмертно, – ну, хотя бы одну или две в виде исключения, – я бы прежде отдал ее творцам базилики Сан-Пьетро. И только потом – Ньютону или Галилею.

* * *

И еще в Риме танцуют. Просто так – на площади, скажем, Венеции. По вечерам под духовой оркестр муниципальной полиции. В тот день бал давали для людей Божьих. По-нашему – блаженных. Оркестр наигрывал вальсы, и римские дурачки счастливо кружились в парах. В конце бала оркестр исполнил гимн, и бравый дирижер, вытянувшись в струнку, взял перед неуклюжими танцорами и прослезившейся на их искусство публикой «под козырек»...

Забывшие «Незабудки»

Говорят, его стихи не очень пелись. Единственное, якобы положенное на музыку, – «Сережка с Малой Бронной...» («Москвичи»). К тому же приписываемое почему-то Окуджаве. Да еще и поправленное Бернесом. Затем, правда, вновь переписанное автором. Думаю, что это не так. Редкий случай, когда мне захотелось подобрать мелодию к стихам – это винокуровские «Я когда-нибудь снимусь над молом...» Помните? «...С облаками где-то вдалеке... Я хочу запомниться веселым с веткою какой-нибудь в руке!» Впрочем, подозреваю, что запамятавали. Бывает...

Я не знаю, каким запомнился Евгений Винокуров. Не исключено, что многим – никаким. В отечественной литературе образовался целый пласт ценнейших поэтических залежей, меченный грифом – «советские». И потому якобы – «банальные», «идеологизированные», «устаревшие». В филологические «отвалы» ушли литературные самоцветы, переоткрытие которых способно нынче одарить незашоренного читателя безмерной эстетической щедростью. А в случае с Евгением Винокуровым – настроить еще сердца и души на философский лад.

Его в самом деле называли философом. Кто – в упрек, кто – в похвалу. Книги стихов он называл почти по-аристо-телевски, мощно и всеобъемлюще: «Бытие», «Ипостась», «Слово», «Метафоры», «Характеры», «Ритм»... И верно: этот истрепанный войной шуплый двадцатилетний младший лейтенантик принес с собой с войны в пропыленном вещмешке глубокое осознание Бытия – не меньше. Спрессованное, впрочем, до невероятной плотности в короткие, плотные, яркие и пронзительные строки. Его ставшие знаменитыми «Незабудки» – одна из самых, наверное, емких и сжатых трагедий той войны:

*В шинельке драной,
Без обуток
Я помню в поле мертвеца.
Толпа кровавых незабудок
Стояла около лица.
Мертвец лежал недвижно,
Глядя,
Как медлил коршун вдалеке...
И было выколото
«Надя»
На обескровленной руке.*

В каждой строчке, в каждом слове, даже букве каждой выкована точная метафора, выбивающая искру из близлежащей и от образовавшегося поэтического накала готовая сжечь книжные страницы, отведенные на вопиющие против всякой войны маленькие и страшные винокуровские «Незабудки». Без грохота орудий и пулеметной пальбы, лишенная лязга гусениц и минометного воя, война вышла из-под пера юного окопного поэта во всей своей ужасающей нечеловечности. Отвратительной бессмысленности. Обрамленная посмертным приговором – не забывать. И еще более суровым – лишения человека последней искорки надежды.

Говорят, он был не похож на самого себя. Как бы это сказать – слишком обыденный для философствующего поэта, так, что ли. В неизменной серой кепке, тучный, сосредоточенный, мелькал то и дело со своим портфелем на эскалаторах метро по пути на занятия литинститутского семинара. Был сдержан. Даже суховат. С властями не заигрывал. В диссидентство не рядился. Избегал публичности – не читал стихи со сцены, чем, собственно, обозначились в ту пору шумные шестидесятники. А просто – писал, учил, редактировал, вспоминал, думал...

Весной новой новая трава

*Не знает ничего о прошлогодней.
Ей память для чего? Она жива, –
Ей хорошо без прошлого. Свободней.
А мне-то как: забрел в дремучий лес
Воспоминаний и не выйду к свету...
Мир прошлого! Да он давно исчез!
Его на самом деле нету!
Был, да пропал, подобно миражу.
Прошло с тех пор уж лет пятнадцать этак...
А я брожу в густом лесу, брожу
С рубцами на лице от бьющих веток.*

«Я почувствовал себя сильным, – вспоминал Винокуров время вступления в большую поэзию, – когда вдруг понял, что в том случае, если стихотворение не вышло, его надо не «доделать», как принято было говорить в Литинституте, а «дочувствовать». Область настоящего поиска поэт определял не в области стихотворной техники, а в области человеческой психики, в области мысли.

*...Несказанная мысль
хотя и беспредельна,
но все ж ты из нее
простой
предмет слепи,
произнеси ее, мой друг,
членораздельно,
движеньем губ своих
в пространстве закрепи.*

Винокуров был с того самого краеугольного 1925-го. Самые юные призывники Великой Отечественной. Восемнадцатилетними поставленные командирами взводов. Ввинченные по самые пилотки в оборонительные рубежи Отчизны. Вбитые крепкими гвоздями в оплот будущей Великой Победы. Совсем малыцы, но какая сила! Только из школ, но уже – философы. Пропахшие порохом, калеченные, контуженные, толком так и недоучившиеся, но – уже поэты, мудрецы, пророки...

*Снегом густым
Замело,
Забуравило.
Ничего не разобратъ
Добром.
А зимы еще не было,
Просто набело
Осень была переписана ноябрем.
А зимы еще не было,
Просто неистово
Ветер врезался в глубь сосняка...
Я обмотки разматывал,
Словно перелистывал
Страницы солдатского дневника.*

Он не дотянет до семидесяти. Настоящие фронтовики долго не живут. Тихо уйдет в самую перестроечную смуту. Оставив после себя уйму книг: своих любимых авторов – на стеллажах домашней библиотеки, и собственных стихов – в домашних библиотеках тысяч россиян. Первые загадочно исчезнут. Вторые еще более необъяснимым образом станут постепенно уходить в тень, из которой мы вскоре начнем сиротливо поглядывать в сторону ушедшего в вечность и оставившего нас наедине с грозным Бытием солдата, философа, поэта – Евгения Михайловича Винокурова.

*Я очень поздно понял глубину.
Я на нее набрел совсем случайно.
Я думал: на секунду загляну
И отшатнусь. И сохранится тайна.
Но глубина уже вошла в меня
И мною уже сделалась отчасти.
И я живу, в себе ее храня
На самом дне.
На горе иль на счастье.
Ее, и ненавидя и любя,
Я сохраняю.
Не легко мне часто.
Но без нее я б чувствовал себя,
Как шхуна в шторм, что вышла без балласта.*

Нигде и никогда

– Как меня найти? – переспросил Михалыч. – Да проще простого. Дом престарелых, что на Маяковке, знаешь? Ну, так вот, заходишь в корпус и говоришь: «К Михалычу». И тебе всякий укажет. Я – кому телевизор починить, кому радиоприемник. Опять же плакат какой-нибудь для центра нарисовать – все ко мне идут...

Его последнее пристанище – четыре на три метра комнатенка с умывальником, но без туалета. Две панцирные койки – его и нынешней жены, шкаф, стол, два стула, ну, вот, пожалуй, и все. На столе – разложенный во всю ширь, но еще не законченный плакат про красноносых алкашей с соответствующей рифмой. Михалыч поясняет: начальство просило пропесочить как следует нарушителей режима, хотя от режима этого сам порядком натерпелся...

– Слушай, – как бы спохватывается и переходит на заговорщический тон. – Ну, никакого житья – все сумки обшаривают. Чуть бутылку где найдут – долой. Говорю им: мне на каштанах сказали настаивать – помогает. Я и к главврачу ходил. Вот же, показываю, у меня и каштаны приготовлены. Для настойки... А он взял и отнял. Ну, было один раз. Напился. Так я же заранее пошел к главврачу и предупредил: мне нужно напиток – для разрядки... И все. И больше ни разу. Ну да ладно. Это я так...

Михалыч – маленький жилистый старичок. На вид – далеко за семьдесят. Давно тоскующая по штопке тельняшка и одинаковые с ней по возрасту штаны – его обычный гардероб. Говорит, что подполковник. И даже – резидент. Ясное дело, в отставке. Подробности опускает – подписку, клянется, дал на 25 лет о неразглашении. Впрочем, не удержался и понес, понес... В ход тут же пошли короткоствольные автоматы, парашюты, стреляющие ядом авторучки и чертовски сложный венгерский язык. Дальше – Египет: раскаленные пески и книжица убористых стихов о неизлечимой русской тоске по хрустящему снегу.

– Я их прям залпом сочиняю, – клянется старик. – Сажусь – и всю ночь, не вставая, пишу. Жена-покойница за это сколько раз ругала. Зачем, говорит, зря свет прожигаеть...

Он долго ищет в своем рукописном сборнике «каирские» страницы, цепляет на нос очки и с чувством читает... О древних сфинксах, о сыпучих песках, о русской душе, о елке за окном. Голос Михалыча дрожит. На глаза наворачиваются слезы. Он резким движением сбрасывает на стол очки, трет сморщенной ладонью нос и, как бы извиняясь, говорит:

– Чувствительный я очень. Не могу...

Разговор сдвинулся в сторону Индии. Туда, как назло, в агенты не взяли. Вместо нее героя отрядили в Анголу. Или в Намибию. А может, в Албанию. Чувствуется, Михалыч и с географией не на «ты», и быстро ее сворачивает. Теперь вот, гордо выпячивает грудь в потертой тельняшке, – художественное ремесло. В шкафу пылятся трафареты «Не влезай – убьет!», «Играйте в Спортлото!» и т.д.

О том, как угодил в богадельню, рассказывает скупо. Что-то вроде Льва Толстого – плюнул и ушел. «Дед, дай сто рублей, мне деньги нужны!» – последнее, что помнит Михалыч из разговора с внучкой.

Перед окнами Михалыча – чисто выметенный двор, белые халаты, обшарпанные корпуса.

Кругом большая и убогая опрятность. От кухни тянет домашним борщом. По дорожкам в инвалидных колясках мерно шествует недвижимый контингент. Условно подвижные, напротив, больше лепятся на скамейках и с лицами, отмеченными печатями невыразимой обреченности, толкуют о чем-то своем, несбыточном. Или играют в карты. В воздухе пахнет тоской. Хочется убежать...

– Я вообще-то себя называю чудаком, – признается Михалыч., – и, как его, забыл это слово...

Он гулко стучит с досады пальцами по лбу...

– Ну, что ты будешь делать, память какая стала... А, вспомнил: эксцентриком – вот как я себя называю... Разведчик – он ведь всегда актер. А я люблю играть, разыгрывать. Это даже не дурашливость, хотя внешне, может быть, так и есть. Скорее, ерничество... Так легче. Так легче, когда совсем тяжело...

В подтверждение тут разыгрывает пьяного: с помутневшим взглядом, с заплетающимся языком – не отличишь. Но опять-таки клянется: в жизни – ни-ни. «Нам же, разведчикам, таблетки особые полагались, – переходит на шепот дед. – Проглотишь одну – и трезвый. Хоть за баранку после банкета садись. Точно говорю».

Пошла новая повесть. Не менее правдивая. Как самого «первого» в Детчино возил Высоцкого слушать. «В ту пору занедужил обкомовский шофер, – опять пошел нести свое неугомонный старик. – И прознала партия, что есть-де в Калуге опытный контрразведчик Михалыч, и пришла ко мне партия и сказала: «Давай, Михалыч, выручай. Надевай свои пистолеты и садись за баранку. Ответственные гости намечаются. Не подкачай. Так и есть: является в область собственной персоной сам Михайло Андреич Суслов. Одарить своего закадычного друга Андрея Андреича Кандренкова грандиозным подарком – знаменитым бунтарем-песенником. Тот, ясно дело, был не разлей вода с главным зажимщиком вольнодумцев Сусловым. И вот в детчинской резиденции Высоцкий и дал им всем жару про «порвали парус», про «охоту на волков». Здорово прохрипел. На славу. Ясно дело, выпили. Чувствую – повело. Э, нет, думаю, так дело не пойдет. Проглотил специальную таблетку – вроде отошло. Но все равно часок-другой полежал. А как же? Чай не дрова везу. Такая ответственность...»

Михалыч смотрит на часы. Надо спешить. Жена в больнице – переживает, как она там. Да и молодожен ведь он – именно здесь, в приюте, на закате лет обрел-таки семейное счастье. Правда, с четвертой попытки. Размеренный и тягостный ритм дома престарелых, кажется, ничуть не сказался на старом неугомонном болтуне.

У Михалыча вечный цейтнот – ни минуты свободного времени. Того самого проклятого времени, к которому в этом несчастном заведении ты приговариваешься навсегда. К его абсолютной ненужности. Гнетущей избыточности. К его пожизненному плену. И некуда из этого плена бежать. Разве что в прошлое. В далекое-далекое прошлое. Такое далекое, что и не вспомнишь: а было ли оно вообще? А если и было, то неужели с тобой? И явь это или сон? Быль или небыль? Нет ответа...

Эх, подняться бы куда-нибудь высоко-высоко в небо. Чтоб захватило дух. Чтоб было точь-в-точь, как в детстве. Когда, набегавшись по двору, счастливый и уставший, ты приходишь домой, валишься на кровать, опускаешь голову на душистую с накрахмаленной наволочкой подушку, закрываешь глаза и под затихающий нежный мамин шепот летишь куда-то далеко. Летишь... И все-то у тебя еще впереди. Все-все. Целая прекрасная, долгая жизнь. Узнать бы ее только. Не упустить...

Полуостров

Море на полуострове увидел только с самолета. В иллюминаторе как-то по-новому качнулась синева – не сверху, а снизу. В самом узком месте ее стянули длинным мостом. Тот шумно строили, азартно хвалили и натужно ругали. Теперь он – ориентир для российских «боингов». Заграничные не летают. Хотя аэропорт – шик. На посадку заходили кружным путем с востока, а потом с юга – от моря. И мост оттуда же кинули – явно не с руки. Но говорят: так надо...

Таксист в аэропорту заверил, что троллейбусы до города не ходят. Через пять минут подошел 49-й. До центра? Туда. Плата символическая – 13 руб. Можно и так – полуостров обходится без кондукторов. За окном потянулись высохшие репы, рассыпанный щебень, куски арматуры, обшарпанные пятиэтажки. Голые осенние сады качали ветвями на промозгом ветру. Из земли торчали осколки бетонных плит. Сосредоточенные горожане молча заполняли салон.

Кобышатник, Кубик, или площадь Куйбышева. Помню, как детей туда водили на карусели. Сняли квартиру рядом – за 1 300 в сутки. В свою ехать не хотелось. Когда-то мы были там счастливы. Но смерть отбирала из нее по одному. Теперь – только старые панцирные кровати, вытертый палас и сумка с черно-белыми фотографиями, где живые родственники на берегу Салгира.

Рек на полуострове мало. Эта, пожалуй, главная. Течет аккуратно за домом. По весне исправно заливала дедов гараж, выложенный, как и все вокруг, из ракушечника. Все заливала – с машиной, удочками и банками вишневого компота, что запасали на зиму. За рекой – пещеры. В них, по преданиям, прятались первобытные люди. А после – местные пацаны.

Ничего не изменилось. Даже скамейка, где я на фото держу на руках годовалую дочь. Двадцать пять лет прошло, а доски на ней те же. Только – повытертые. И ограда в палисаднике у подъезда та же. Только – ржавая. И асфальт во дворе тот же. Только – в выбоинах.

Света по вечерам во дворе нет. Раньше не было газа. Теперь – света. Зато он есть в мобильниках, которыми мы светим себе под ноги. Поднимаемся на третий этаж. Узнать бы: в какой ее увезли морг? Раньше в этом доме я никогда не думал о моргах. Теперь – только о них. А также – о кладбищах. Сюда люди переселялись, чтобы быть поближе к раю. К теплу. К морю. И – винограду. Но точно – не к кладбищу.

На следующий день объехали несколько моргов. Ее нашли в том, что на берегу реки. Нашей реки. Как раз у ворот Гагаринского парка. В нем – длинные извилистые дорожки, простые карусели, пруд, где я катал свою будущую жену на лодке. А потом – детей на катамаране. Все замерло в ожидании глубокой осени. Но холод опаздывает. Октябрьское солнце обжигает лица. Мы прячемся в тени могучей акации. Нам нужно выждать два часа, пока в морге не оформят справку о смерти. Мы с женой сидим на скамейке, по-детски болтая ногами. И – молчим.

Рабочие парка гребут листву. Гудит трактор. Вода в пруду прозрачная. На дне видны склизкие камни. Среди них снуют блестящие мальки. Пижонистые селезни бороздят заводь, хорохорясь перед серыми утками. Мы вспоминаем, как спасали такую же серую шейку от наглого пса. Я был на веслах. Жена – на корме. Пес греб лапами в сторону уточки. Мы подставляли ему бока нашего ялика. Сколько же прошло с тех пор лет?..

Она была младшей. Водила троллейбус. Тот самый знаменитый, что мог катить из большого города через перевал до берега Черного моря. Самый, говорят, длинный в мире маршрут. И – такая короткая жизнь. Загар у нее всегда был неравномерный. Левая рука смуглее правой. Потому что левая – в проеме открытого окна. Под палящим южным солнцем. Правая – на руле. Троллейбусы были надежные, крепкие, чешские. Ее машина на боках несла рекламу FUDGI.

В последние годы она редко выходила из дома. Но основные события вокруг улавливала. Как полиция выламывала дверь соседу-однокласснику. Потому что он оказался «политическим». И по мобильнику разговаривал по-украински. О чем он там говорил? И с кем? Неужели что-то взорвал? Или – все приписали? Говорят, видели на Майдане. Кто? Другой одноклассник из подъезда. Только по другую сторону баррикад. Омоновец. Теперь их матери-соседки – лютые враги.

Раньше мирный подъезд вдруг перестал быть мирным. Наверное – войны. Или – климат. Или – старость. Хотя доживают до нее в подъезде немногие. Ей, скажем, было всего лишь 43. «Молодых у нас все больше и больше, – сетует прораб-могильщик на Старом Абдале. – Старики – редкость». Идем вдоль могил. И верно: пожилые – с прежними датами смерти, молодые – с нынешними. И – теснота. Могилу решили копать в отцовской. И тесно слишком, да и дочь любимая. «Думаю, не обидится», – смахнула рукой слезу жена.

«Десять лет уже на полуострове, – признается словоохотливый могильщик, – а привыкнуть не могу». Сам из Вологды. Был в милиции. Теперь – казак. Националист и этого не скрывает. Рассказывает, как казаки разгоняют на полуострове татар. Хотя место работы, то есть кладбище, изначально татарское. И первые мраморные в полтора – два человеческих роста монументы им. «Здесь, кажется, Юрию Богатикову памятник есть?» «Да, пойдёмте покажу». Отказываемся. В другой раз. Впрочем, надеемся, что его уже не будет...

Полуостров, как половина жизни. Был, есть и, видимо, останется. Не вся жизнь, не краткий миг ее, а вроде как разрезанная напополам душа. Не склеивающаяся заново, не отбрасываемая насовсем, а так и оставшаяся в расчлененном надвое сердце навсегда. Скажем так – полусердце. Полужизнь...

Обратный самолет взлетал поутру. В глухое ненастье. Полуостров тут же спрятался под облака. Когда он окончательно ушел из-под крыла, мы уже не узнали...

Космос нашего детства

– Папаша, следите за своими детьми! – бросилась в мою сторону со стула смотрительница музея. – По экспонату ходить нельзя! Сломаете ракету!..

Я всегда удивлялся, откуда в музеях берутся такие сердитые дамы. Они всегда кого-то выслеживают. Зло скучают. И всем своим видом источают презумпцию виновности посетителей: за их излишнее любопытство к осточертевшим уже за много лет чучелам искусственных спутников земли; за свою жалкую пенсию, к которой нужно подрабатывать, часами просиживая на продавленном музейном стуле; за окостеневшие в памяти слова экскурсовода «Константин Эдуардович – отец русской космонавтики – построил макет этого дирижабля, изготавливая гофрированные листы на маленьком станке в своей домашней мастерской».

– Настя, выйди из сопла, – выполняя приказ музейной смотрительницы, пытаюсь поймать за ручку свою пятилетнюю дочь.

Дочка шумно топает внутри сопла поваленного набор ракетного двигателя, радуясь звонкому эху, что гуляет по параболической поверхности оцетинившегося трубопроводами и переполненного тысячами киловатт тяги музейного чудища. Произведено, как следует из таблички, на воронежском заводе «Хим-автоматика».

* * *

Если в Москве есть Кремль и Царь-пушка, то в Калуге – ГМИК (Государственный музей истории космонавтики) и периодически падающий на спину макет ракетносителя «Восток». Впрочем, резиденция для царствующих особ в нашем городе тоже имеется. Ее перед своим уходом в прошлое построил первый секретарь обкома КПСС товарищ Кандренков. Построил – и был снят. Звали Кандренкова Андрей Андреевич. Потому его архитектурное детище горожане вскоре нарекли в точном соответствии с партийными святыми – «храм Андрея снятого».

После партийный дворец переименовали в областную администрацию; потом – на американский манер – в «Белый дом». Вскоре очередной губернатор попытался от него отделаться, предложив сей выкидыш партийного зодчества одному из местных вузов. Но тот оказался ненужным и ему.

Короче – харизматичному ГМИКу за отсутствием в калужских правительственных покоях новой архитектурной державности пришлось исполнять обязанности «местного Кремля». Неустанно позируя на памятных календарях, открытках и сувенирных магнитах, увозимых с собой из Калуги туристами и командировочными. А также – родственниками из Сибири, Ленинграда и Тамбова, что по прибытии к нам в гости непременно препровождались на экскурсию в музей: смотреть обгоревшую кабину космического корабля, на котором Валерий Быковский живым вернулся с орбиты; игрушечную кабинку на малых колесиках, в которой собачка Лайка так и осталась вертеться вокруг Земли; межпланетную станцию «Луна-9», что первой из десятка пущенных накануне в том же направлении не разбилась о Луну.

* * *

Я не припомню, сколько раз за свою жизнь побывал в ГМИКе: с братьями, сестрами, племянниками, своими детьми и чужими, знакомыми и не очень. Был случай – в толпе послов каких-то африканских стран. Или – давным-давно. . . . Едва всплывает из памяти высокий лысоватый мужчина в длинном коричневом плаще почти до пят. Подступы к музею. Вокруг толпа. Мы ушли с уроков. Или – нас отпустили. Или – не было совсем. Красные цветы. Черные «Волги». Замешкавшаяся свита. Ничего не слышно. Только видно, как высокий мужчина в плаще добродушно улыбается и ждет, когда его поведут в музей.

То, что это был Нил Армстронг, первый человек, высадившийся на Луну, узнали много позже. Просто мы, пацаны, ходили смотреть, как в Калугу после очередного полета приехали космонавты (была такая традиция). На этот раз – экипаж «Союза-Аполлона». И в нем – высокий человек, запросто шагнувший с Луны сюда, почти под стены нашей школы, что располагалась недалеко от ГМИК.

* * *

– Николай Григорьевич, расскажите, как вы «вошли в контакт с Гагариным», – прошу чуть ли не в сотый раз старейшего фоторепортера Николая Павлова рассказать «на бис» мою любимую историю, которую, честно говоря, знаю наизусть. О том, как Николай Григорьевич фотографировал Юрия Алексеевича при закладке первого камня ГМИК. Толпа народу. Дождь. Юрий Гагарин с мастерком. Размешивает раствор. Берет кирпич и, дабы половчее уложить его в основание строящегося музея... неожиданно поворачивается спиной к фотокарам. Те – в панике: горит бесценный кадр!

– И что вы тогда сделали? – предвкушая повторение коронной байки, в который раз тормошу память потрясающего старика.

– И тогда, – важно приосаниваясь, говорит Павлов, – я вошел в контакт с Гагариным. Подошел, тронул его за плечо и сказал: «Юрий Алексеевич, повернитесь, пожалуйста, лицом к нам, а то в кадр не попадаете».

– И что Гагарин?

– Представляешь, какой удивительный человек – добродушно извинился и мигом сделал так, как его просили. Мастерком, кстати, орудовал профессионально...

Вот уже полвека Павлов с нежностью разглядывает на своих фото улыбающееся лицо первого космонавта Земли. И всякий раз переводит взор на китель Юрия Алексеевича, получившийся на тех фото из-за дождя почти что в крапинку. Ретушировать не стал. Потому что запомнил его возле строящегося музея именно таким: простым, душевным, в переливающихся каплях июньского ливня...

Лыжи нашего детства

Запах смоленых лыж преследует с детства. Впрочем, поначалу они не смолились. Были толстенные, солдатские, с брезентовыми ремнями, заклепанными в стальные наконечники. Ремни охватывали детский башмак сзади. Закоченевшими пальцами просовывались через неподатливые ушки. Натягивались. И что есть мочи вдавливали носок в свирепо растопыривавший свою стальную пасть капкан. То были полужесткие крепления. Предназначавшиеся, вообще-то, для гремучих солдатских кирзачей. С детскими же ногами эти спортивные устройства обращались немилосердно, пребольно выворачивая стопу, лишь только ты задумывал буровить носом рыхлые сугробы.

По воскресеньям лыжная Калуга устраивала массовое паломничество в Крутицы. Еще не было «космической» лестницы, и самые отчаянные кидались на лыжах вниз от самого музея, дабы вдоволь набарахтаться, не начиная, собственно, еще и самого похода. Крутицкая лыжня брала отсчет от домика лесничего и некогда соседствовавшего с ним зимнего вагончика-буфета. Всегда слыла одной из самых бойких в бору. Двухколейка. С широкой пешеходной тропой и массой впадающих в главную лыжную артерию притоков. Покоряться она начала не сразу, а частями. В зависимости от возраста и мастерства покорителя.

Помню, в классе втором–третьем пределом мечтаний была развилка на смолокурне. Той, впрочем, уже лет семьдесят как след простыл, зато название осталось. А заодно с ним – и могучий коряжистый дуб, поджидающий крутицких паломников с примыкающего направления – от Заячьей горы и Подзавалья. У смолокурни оба потока сливались в один могучий лыжный вал, и тот дружно катился до следующего ориентира – Солнечной полянки. Туда уже на тяжелых солдатских снегоступах да с бамбуковыми палками в руках можно было добраться разве что к классу четвертому–пятому. Не раньше. Зато увиденное навсегда поражало воображение: ослепляющее мартовское солнце и мерно поворачивающиеся в его лучах, словно куры-гриль на вертеле, голые мужские торсы. И даже женские, в купальниках. Лыжный калужский люд выпитывал здесь целебный ультрафиолет.

Затем крутицкий зимник решительно перерезал окружную автотрассу и окунался в еще более дремучий лес. Впрочем, заблудиться в нем было мудрено – сзади долго подзуживали снующие между Анненками и Силикатным самосвалы, спереди все более давала о себе знать железная киевская магистраль. До лыжной Мекки – взобравшихся на заснеженные бугры Крутиц – было еще с полчаса мерного поскрипывания «полужестко» схваченных ботинок. Несколько просек. Пара ЛЭП. Тройка замысловато выписанных на снегу заячьих автографов. Лихой поворот. Спуск. И вот он, на самой горе, – калужский Инсбрук. Самый, судя по всему, народный и неофициальный стадион областного центра. Ни разу в сводках не поименованный. Никем не обустроиваемый. Не финансируемый. Не претендующий, к слову, ни на то, ни на другое, а тихо зимующий таким снежным отшельником на живописных крутоярах, бескорыстно притягивающих к себе по выходным тысячи паломников.

Годы реформ прокатились и по калужской лыжне. Она изрядно опустела. Куда-то сразу же исчезли вечно торчащие из снега красные флажки – вдоль них по бору то и дело мотались школьники, студенты и прочий полуспортивный люд. Навсегда сгинул вагончик-буфет. Там по выходным разливали горяченный чай и продавали бутерброды. Лыжный общепит пользовался невероятной популярностью у калужан, и главы семейств, как истинные добытчики, почитали за долг, сняв лыжи, втиснуться в сарай и побороться в честной борьбе за выгодное место перед прилавком. Самые удачливые вырывались из малюсенькой чайханы с кружками кипятка и кусками белого хлеба с тремя колесиками «Краковской». Проголодавшееся семейство тут же, на бревнах, устраивало радостный пикник. Затем выстраивалось в очередь,

дабы прокатиться с главной горки у лесничества. После третьего падения главы семейство еще раз обходило кругом чайхану, отряхивало извалявшихся в снегу малышей и, разгоряченное и счастливое, отправлялось вон из бора.

Потом появился пластик. И коньковый ход. Классические лыжные узкоколейки все чаще стали разрисовываться ровной «елочной» насечкой. Вход пошли лесные дорожки – по ним коньковое скольжение было особенно стремительным и красивым. Но «елочка» оставалась уделом профессионалов. Или полупрофессионалов. Или просто – не терпящей былой лыжной размеренности молодежи. Та взялась, было, теснить лыжных «стариков» из заснеженных просек, но в последние годы силы выравнялись. Калужский бор вновь наполнился самой разнообразной лыжной публикой: старой и молодой, уважаемой (на дорогущих «фишерах») и не очень (на тех еще «сортвалах», что продавали в главном спортивном магазине на Ленина, 30, всего-то по 27 рублей 90 копеек за пару).

Ни пионерские лагеря, переделанные в фешенебельные лыжные заимки, ни сноуборды, ни снегоходные «Ямахи», ни специально подгадываемый разудалый автомобильный мордобой на яченских берегах – ничто уж, видно, не в силах сладить с по-стариковски теплым на прием и абсолютно бескорыстным на тысячи природных милостей калужским сосноградом. Его морозно-смолистый дух еще повскружит головы новым армиям румяных ходочков и опьяненных накрепко (обычно – на всю жизнь) привяжет к себе тонюсенькими ленточками бело-снежных лыжных троп.

Мой дед не читал Сэлинджера

Мне кажется, они бы могли встретиться. Не разминуться. На этом нашем маленьком шаре земном. Поскольку двигались навстречу друг другу. Одновременно. По одноименным параллелям. Схожими тропами. Дед следовал из Тамбова на запад. Сэлинджер – из Нормандии на восток.

Оба прошли преисподнюю. Дед – под Вязьмой. Сэлинджер – под Шербуром. Выжили чудом. Из дедовой роты уцелели трое. Сэлинджеровский полк немец покрошил почти что весь. Если есть Бог, то он про них помнил. «Господи, Иисусе Христе, помилуй мя», – один шептал, другой записывал огрызком карандаша в сыром окопе.

Дед бережно хранил в коробке Красную Звезду и медаль «За отвагу». Сэлинджер не расставался со шкатулкой – в ней пять звезд и президентская благодарность за мужество. Содержимое коробки и шкатулки почти никогда не извлекалось.

До встречи в 45-м им оставалось немного. Большую часть навстречу они уже прошли. Дед встал под Берлином. Сэлинджер увидел Париж. Потом развернулись обратно. Сначала дед – в 45-м. Потом Сэлинджер – в 46-м.

Они были близки друг к другу. Насколько могут сблизиться тамбовский конюх и нью-йоркский аристократ. Кое-что их, конечно, разделяло. Но это – мелочи. В главном они были едины. А именно: в ненависти к войне. Любой. В том числе – и победоносной. В том числе – выделившей их из сотен убитых однополчан. И только их одарившей жизнью.

Война их объединила в ненависти к себе. Дед ни в какую не желал распространяться на ее счет. Не прочитал о ней ни одной книжки. Наверное, потому, что ничего не написал о войне Сэлинджер. Тот также бежал воспоминаний об этом злобном занятии. В том числе – косвенных, отвергая даже турпоходы только потому, что надо ночевать под брезентом. На земле. В сырости. То есть возвращаться в адский быт военного десанта.

Они эмигрировали с войны. Навсегда. Дед – обратно в конюхи. Затем – на пасеку. Сэлинджер – сначала в литературу. Потом – еще дальше. Но пути их не разошлись. Они продолжали идти навстречу друг другу. И продолжают, мне кажется, по сей день.

Мой дед не читал Сэлинджера. Не видел. Не знал. Негромко крестьянствовал. Жил и, думаю, верил, что есть рядом кто-то великий, кто может подойти и тихо положить руку на плечо. И помолчать. В том числе и о том, что не заслуживает слов. Помолчать и снова уйти. Незамеченным другими.

«Надо набраться мужества, чтобы стать никем», – закрывая за разрушительным честолюбием дверь, черкнет в блокноте бывший американский сержант – великий Сэлинджер. Бывший русский сержант – мой дед – с такой странной формулировкой бы согласился. Оба знали, что такое мужество и доблесть. И точно ведали, где их лучше в последний раз применить.

Письма из города К

Гоголь приезжал сюда в поисках «живых душ» – писать второй том «Мертвых...». Каждое утро я мету под его окнами опавшую листву. Впрочем, окон не сохранилось. И дома – тоже. Но листва... Мне кажется, она помнит их шаги.

На этом месте была губернаторская дача. Очень давно. Когда вокруг них еще не ставили каменные ограды. У четы Смирновых таких точно не было. Гоголь жил в их домике запросто. Вставал в пять. Пил по утрам кофе. Смотрел на крутые Яченские берега, на бор и садился за рукопись. Ту самую, которую потом сожжет. На дворе стоял 1849 год.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.